## Его превосходительство

Уильям Сомерсет Моэм

## Перевод: А. Ливергант

На званый обед Эшенден шел без большого энтузиазма. Черный галстук предполагал узкий круг приглашенных — быть может, на обеде кроме него и посла будут присутствовать лишь леди Анна, жена сэра Герберта, с которой Эшенден был незнаком, а также один-два молодых секретаря посольства. Приятного вечера все это никак не сулило. Возможно, после обеда у них принято играть в бридж, но Эшенден по опыту знал, что профессиональные дипломаты в бридж играют неважно — наверное, потому, что не хотят забивать себе голову пошлой салонной игрой. С другой стороны, ему было интересно понаблюдать за тем, как сэр Герберт будет вести себя в обстановке менее официальной. Ведь ясно, что посол был человек незаурядный. И внешний вид, и манеры выдавали в нем идеального представителя своего класса, а лучшие образчики хорошо известных социальных типов лицезреть всегда интересно. Достаточно было на него взглянуть, чтобы понять, что это именно посол; стоило слегка преувеличить любую его черту, и он бы превратился в ходячую карикатуру на свою профессию. Кажется, произнеси он одно лишь слово, допусти хотя бы один неосторожный жест — и он превратится в пародию на самого себя. В этом смысле он был похож на канатоходца, который балансирует на головокружительной высоте. Это определенно был человек с характером. Дипломатическую карьеру он сделал очень быстро, и, хотя связи родителей жены способствовали его продвижению, головокружительным взлетом он был обязан прежде всего самому себе. Он знал, когда следует проявить решительность, а когда, наоборот, пойти на уступку. Держался он безукоризненно, свободно говорил на нескольких языках, обладал ясным и логичным умом. Он никогда не боялся собственных мыслей, даже самых дерзких, однако действовать предпочитал осмотрительно, сообразно ситуации. Послом в N. сэра Герберта назначили, когда ему было всего пятьдесят три года, однако в тяжелейших условиях, вызванных войной и внутренними противоречиями в стране, он продемонстрировал гибкость, выдержку, а один раз и мужество. Однажды, когда в столице вспыхнуло восстание, банда революционеров ворвалась в английское посольство, и сэр Герберт, выйдя на лестницу, обратился к бунтовщикам с пылкой речью; в результате, хотя они размахивали перед ним револьверами, он уговорил толпу разойтись по домам. Сэр Герберт наверняка должен был закончить свою карьеру послом в Париже — в этом сомневаться не приходилось. Он был из тех людей, которыми нельзя не восхищаться, но которые и симпатии к себе не вызывают. Он продолжал традицию викторианских дипломатов, которые были способны на самые блестящие политические решения и самоуверенность которых — временами, надо признать, доходящая до самолюбования — приносила свои плоды.

Когда Эшенден подъехал к зданию посольства, двери распахнулись и на пороге появились англичанин-дворецкий, дородный мужчина, преисполненный чувства собственного достоинства, и трое лакеев. Его проводили по великолепной парадной лестнице, где произошел описанный выше драматический эпизод, и ввели в огромную, тускло освещенную комнату, где Эшендену бросились в глаза массивная дубовая мебель и висевший над камином колоссальных размеров портрет короля Георга IV в коронационной мантии. В комнате царил полумрак, однако в камине ярко пылал огонь, а возле него стоял низкий диван, с которого, когда прозвучало имя Эшендена, медленно поднялся хозяин дома. В смокинге, который мало на ком хорошо сидит, сэр Герберт смотрелся превосходно.

— Моя жена пошла на концерт, она будет позже. Ей хочется с вами познакомиться. Кроме вас, я сегодня не приглашал никого — решил доставить себе удовольствие и провести с вами вечер наедине.

Эшенден пробормотал слова благодарности, но при этом испытал глубокое разочарование: он не мог себе представить, как можно провести хотя бы пару часов вдвоем с человеком, в присутствии которого — Эшенден вынужден был признать это — он ужасно робел.

Дверь вновь приоткрылась, и дворецкий вместе с одним из лакеев внесли тяжелые серебряные подносы.

— Перед обедом я всегда выпиваю бокал шерри, — сказал посол, — однако, если вы приобрели варварскую привычку пить коктейль, могу предложить вам напиток, который, кажется, называется «сухим мартини».

Как Эшенден ни робел в присутствии посла, тут он решил за себя постоять:

— Я иду в ногу со временем, — возразил он. — Пить шерри, когда есть сухой мартини, — это все равно что путешествовать в дилижансе, когда есть Восточный экспресс.

Обмен репликами продолжался в том же духе до тех пор, пока створки высоких дверей не распахнулись и не раздался голос, возвестивший его превосходительству о том, что обед подан. Они перешли в столовую, огромную залу, в которой за обеденным столом могли бы свободно разместиться по крайней мере шестьдесят человек. Сегодня же здесь был накрыт небольшой круглый стол — вероятно, чтобы и хозяин, и гость чувствовали себя более непринужденно. На огромном буфете красного дерева стояли тяжелые золотые кубки, над буфетом, лицом к Эшендену, висела превосходная картина Каналетто, а на противоположной стене, над камином, портрет королевы Виктории в детстве: на маленькой, правильной формы головке девочки красовалась миниатюрная золотая корона. Прислуживали все тот же дородный дворецкий и трое очень высоких лакеев-англичан. Эшендену показалось, что обед в неофициальной обстановке, без привычной помпы доставляет послу определенное удовольствие. Точно так же они бы обедали в Англии, в каком-нибудь загородном особняке — церемонно, но без излишеств, строго следуя традиционному, в сущности довольно нелепому, ритуалу. Вместе с тем на протяжении всего обеда Эшендена не покидала тревожная мысль, что в это же время за стеной посольства волнуется людская масса и в любой момент может начаться кровавая революция, а всего в каких-нибудь двухстах милях отсюда другие люди прячутся в блиндажах от лютого холода и беспощадного артиллерийского обстрела.

Как вскоре выяснилось, Эшенден напрасно боялся, что разговора за обедом не получится и что посол вызвал его с единственной целью — расспросить о его секретной миссии. Сэр Герберт вел себя так, словно Эшенден был английским путешественником, который явился в посольство с рекомендательным письмом и которому следует оказать гостеприимство. О войне, словно ее не было вовсе, посол упоминал лишь вскользь, да и то чтобы Эшенден не подумал, будто он сознательно избегает этой неприятной темы. Он говорил об искусстве и литературе, высказывал здравые суждения человека весьма начитанного и отдающего предпочтение авторам католической ориентации; когда же Эшенден заговорил о писателях, которых знал лично, а сэр Герберт — только по их книгам, посол слушал его с дружеской снисходительностью, которую обыкновенно проявляют к людям искусства сильные мира сего. (Иногда, правда, они сами пишут картину или сочиняют поэму, и тогда наступает очередь художника демонстрировать свое снисхождение.) Упомянул посол и персонажа из книги самого Эшендена, однако сделал это как бы между прочим, ни разу больше не коснувшись того факта, что его гость был писателем. Эшенден искренне восхищался его тактом — он не выносил, когда с ним говорили о его книгах, поскольку, закончив над ними работу, терял к ним всякий интерес, а также потому, что не любил, когда его хвалили или ругали в его присутствии. Что же касается сэра Герберта Уизерспуна, то он, с одной стороны, польстил самолюбию гостя, дав понять, что читал его сочинения, а с другой, воздержавшись от критики, предпочел его самолюбие не уязвлять. Зашел разговор и о тех странах, где послу приходилось бывать по долгу службы, а также об общих знакомых, которых у Эшендена и сэра Герберта как в Лондоне, так и за его пределами нашлось немало. Сэр Герберт оказался прекрасным собеседником, говорил умно и не без легкой иронии, выдававшей отличное чувство юмора. Одним словом, обед прошел гораздо лучше, чем Эшенден ожидал, и все же не совсем так, как ему бы хотелось. Было бы куда интереснее, если бы суждения посла абсолютно на любую тему не были столь взвешенными, глубокомысленными и проницательными; по правде говоря, ему изрядно надоело поддерживать столь изысканный разговор, и он бы предпочел, чтобы беседа, фигурально выражаясь, сняла манишку и фрак и положила ноги на стол. Но на это рассчитывать не приходилось, и Эшенден пару раз ловил себя на мысли о том, что сразу после обеда, к сожалению, уходить не принято. На одиннадцать часов у него была назначена встреча с Хербартусом в «Отель де Пари».

Обед кончился; принесли кофе. Сэр Герберт знал толк в еде и хорошем вине, и Эшенден должен был признать, что накормил его посол превосходно. Вместе с кофе подали напитки, и Эшенден налил себе рюмку коньяку.

— У меня есть очень старый бенедиктин, — сказал посол. — Хотите попробовать?

— Нет, благодарю, откровенно говоря, я считаю коньяк единственным стоящим напитком.

— Что ж, пожалуй, вы правы. Но в таком случае вам надо попробовать кое-что получше.

И сэр Герберт что-то сказал дворецкому, который тотчас вышел, но вскоре вернулся с покрытой паутиной бутылкой и двумя высокими бокалами.

— Не хочу хвастать, — сказал посол, глядя, как дворецкий наливает в бокал Эшендену золотистую жидкость, — но смею надеяться, что, если вам нравится коньяк, этот напиток придется вам по душе. Я купил эту бутылку в Париже, в бытность мою советником английского посольства во Франции.

— Последнее время мне часто приходится иметь дело с человеком, который сменил вас на этом посту.

— С Байрингом?

— Да.

— Что вы скажете о коньяке?

— Он великолепен.

— А о Байринге?

Переход был настолько неожиданным, что получилось довольно смешно.

— По-моему, он совершеннейший болван.

Сэр Герберт откинулся на стуле и, взяв бокал обеими руками, чтобы коньяк нагрелся, медленно обвел глазами просторную и величественную комнату. Лишняя посуда была убрана, и на столе между Эшенденом и хозяином дома стояла лишь ваза с розами. Уходя, слуги погасили верхний свет, и столовая теперь освещалась только стоящими на столе и возле камина высокими свечами. В комнате, несмотря на ее гигантские размеры, вдруг стало почему-то уютно, спокойно. Взгляд посла остановился на прекрасном портрете королевы Виктории.

— Вы находите? — произнес он наконец.

— Ему придется расстаться с дипломатической карьерой.

— Увы.

Эшенден с любопытством взглянул на хозяина дома. От сэра Герберта он уж никак не ожидал сочувствия к Байрингу.

— Да, при создавшихся обстоятельствах, — продолжал посол, — ему, боюсь, придется оставить службу. А жаль. Способный человек. Из него вышел бы толк.

— И я слышал то же самое. Говорят, в министерстве иностранных дел о нем были весьма высокого мнения.

— Да, у него отличные данные для нашей довольно скучной профессии, — сказал посол с обычной для себя холодной, язвительной улыбкой. — Он красив, настоящий джентльмен, прекрасно воспитан, превосходно говорит по-французски и очень неплохо соображает. Он, безусловно, бы преуспел.

— Как жаль, что он не использовал такие великолепные возможности.

— Насколько я понимаю, после войны он собирается заняться виноделием. По забавному совпадению, он будет возглавлять ту самую фирму, где я приобрел этот коньяк.

Сэр Герберт поднес бокал к носу, вдохнул коньячный аромат, а затем взглянул на Эшендена. Он имел обыкновение смотреть на людей, в особенности когда о чем-то задумывался, с таким брезгливым любопытством, словно это были смешные на вид, но довольно отвратительные насекомые.

— Вы когда-нибудь видели эту женщину? — спросил он.

— Я обедал с нею и с Байрингом у Ларю.

— Интересно. И как она вам?

— Очаровательна.

Эшенден принялся расписывать ее хозяину дома, и одновременно ему вспомнилось, какое впечатление она произвела на него в ресторане, когда Байринг их познакомил. Ему было очень любопытно встретиться с женщиной, о которой он столько слышал. Она называла себя Розой Оберн, а какое у нее настоящее имя — мало кто знал. В свое время она приехала в Париж в составе танцевальной труппы «Веселые девицы», выступала в «Мулен Руж». Роза отличалась такой необыкновенной красотой, что ее скоро приметили, и в нее влюбился какой-то богатый французский промышленник. Он подарил ей особняк, осыпал бриллиантами, но на большее его не хватило, и, расставшись с ним, Роза пошла по рукам. В скором времени она стала самой знаменитой куртизанкой Франции, тратила баснословные суммы и разоряла своих обожателей с циничной беззаботностью. Самые богатые люди были не в состоянии ей угодить. Однажды, еще до войны, Эшенден, находившийся в то время в Монте-Карло, был свидетелем того, как она в один присест проиграла сто восемьдесят тысяч франков, сумму по тем временам немалую. Роза сидела в казино за огромным столом в окружении множества любопытных и проигрывала пачки десятитысячных банкнот с хладнокровием, которое бы сделало ей честь, будь эти деньги ее собственными.

Когда Эшенден с ней познакомился, она уже давно, лет двенадцать-тринадцать, вела бурную светскую жизнь: ночами танцевала и играла в азартные игры, а днем ездила верхом. Хотя Роза была уже тогда не очень молода, на ее прелестном личике, на лбу, на щеках и под глазами, огромными, светло-голубыми, не было ни единой морщинки. Самое же поразительное в ней было то, что, предаваясь лихорадочному и совершенно безудержному разврату, она казалась абсолютно невинной девушкой. Разумеется, это требовало от нее определенных усилий. Роза была на редкость стройна и грациозна и шила себе туалеты, поражавшие подчеркнутой простотой. Ее прическа также не отличалась особой сложностью. Своим овальным личиком, прелестным маленьким носиком, пепельными волосами и огромными голубыми глазами она походила на очаровательных провинциальных героинь Троллопа. От этого псевдопатриархального стиля прямо дух захватывало. У нее была чудная белая матовая кожа и малиновые губки, и если она и красилась, то не по необходимости, а исключительно от распущенности. Словом, она излучала сияние девственности, что было столь же привлекательно, сколь и неожиданно.

Эшенден, конечно же, слышал, что Байринг уже давно, год или даже больше, является любовником Розы. Ее скандальная слава была столь велика, что всепроникающий свет гласности падал на всякого, с кем она сходилась, однако в данном случае сплетники радовались больше обычного, ибо Байринг был весьма небогат, а Роза Оберн благоволила лишь к тем, кто расплачивался звонкой монетой. Быть может, она его любила? Подобное предположение казалось невероятным, однако никак иначе связь эту объяснить было нельзя. В Байринга могла влюбиться любая женщина. Ему было лет тридцать, он был очень высок и хорош собой; от его внешности и от манеры держаться веяло таким обаянием и благородством, что на него оборачивались прохожие; между тем в отличие от большинства красивых мужчин он, казалось, абсолютно не сознавал, какое впечатление производил на окружающих. Когда стало известно, что Байринг — amant de coeur (по-французски это звучит гораздо лучше, чем наш «любовник» или «хахаль») этой знаменитой шлюхи, он в одночасье сделался предметом восхищения многих женщин и предметом зависти многих мужчин; когда же в Лондоне стало известно, что он собирается на Розе жениться, его друзей охватил панический страх, а всех остальных — безудержный смех. Начальник Байринга, поинтересовавшись, правда ли то, что о нем говорят, и получив утвердительный ответ, стал, по слухам, уговаривать своего подчиненного отказаться от брака, который ни к чему хорошему не приведет. Он попытался втолковать Байрингу, что у жены дипломата есть светские обязанности, которые Роза Оберн выполнить не сможет, однако к голосу рассудка Байринг прислушиваться не пожелал, сказал, что готов подать в отставку в любой момент, и заявил, что преисполнен решимости жениться.

Когда Эшенден познакомился с Байрингом, тот ему сначала не понравился, показался несколько замкнутым, отчужденным, однако, время от времени встречаясь с ним по делам, Эшенден обнаружил, что замкнутость вызвана в нем в основном стеснительностью, а узнав его ближе, был очарован его редкостным обаянием. Вместе с тем их отношения оставались чисто официальными, и поэтому Эшенден немного удивился, когда однажды Байринг позвал его в ресторан, обещав познакомить с мисс Оберн, и подумал, не вызвано ли это приглашение тем, что многие друзья повернулись к Байрингу спиной. Когда же Эшенден пришел в ресторан, то выяснилось, что приглашен он по инициативе Розы, которой любопытно было с ним познакомиться. В тот вечер он, к своему удивлению, узнал, что мисс Оберн, оказывается, нашла время прочесть (и прочесть с удовольствием) две-три его книги; однако гораздо больше удивило его то, что Роза мало чем отличалась от светских дам Мейфэра, с которыми Эшенден, благодаря своим книгам, был неплохо знаком. (Ведя в целом жизнь тихую и размеренную, Эшенден не имел возможности проникнуть в мир знаменитых куртизанок того времени и знал о них лишь понаслышке.) От дам высшего света ее отличало разве что чуть большее желание понравиться (одна из ее приятных черт — интерес к любому собеседнику), косметики на ней было не больше, а разговор — не менее интеллигентный. Чего ей не хватало, так это грубости, получившей в последнее время распространение в высшем обществе. Происходило это, видимо, потому, что Роза инстинктивно чувствовала: грубые слова — не для ее прелестных губок; возможно также, ругаться она так и не научилась, ибо в глубине души оставалась провинциалкой. Вне всяких сомнений, она и Байринг безумно любили друг друга; наблюдать, как они ворковали, было одно удовольствие. Когда же, выйдя из ресторана, они прощались и Эшенден пожал ей руку, она, на мгновение задержав его ладонь в своей, посмотрела на него небесными, лучезарными глазами и сказала:

«Вы придете к нам, когда мы переедем в Лондон, правда? Мы ведь собираемся пожениться».

«Я вас от души поздравляю», — сказал Эшенден.

«А его?» — Роза улыбнулась ему улыбкой ангела, в которой предрассветная прохлада сочеталась с нежным ароматом южной весны.

«Неужели вы никогда не смотрелись в зеркало?»

Хотя Эшенден не без юмора (так, во всяком случае, казалось ему самому) описывал сэру Герберту обед в ресторане, тот слушал его без тени улыбки, пристально глядя на гостя своими холодными, стальными глазами.

— И как вы думаете, брак будет счастливым?

— Нет.

— Почему?

Вопрос застал Эшендена врасплох.

— Видите ли, — сказал он после паузы, — мужчина женится не только на своей будущей жене, но и на ее друзьях. Представляете, с кем придется водить дружбу Байрингу? С размалеванными девицами сомнительной репутации и мужчинами, опустившимися на самое дно общества, — проходимцами и авантюристами. Разумеется, недостатка в средствах они испытывать не будут — одни ее побрякушки стоят не меньше ста тысяч фунтов, так что в лондонском полусвете они произведут фурор, в этом сомневаться не приходится. Но известны ли вам законы полусвета? Когда женщина сомнительного поведения выходит замуж, она вызывает восхищение своего круга, ведь она добилась своего, женила на себе мужчину и таким образом стала достойным членом общества. Над мужчиной же все смеются, и только. Его будут презирать даже ее подружки, старые шлюхи и их сводники или же какие-нибудь подонки, что зарабатывают на жизнь, сбывая по дешевке краденое. Он окажется в дурацком положении. Поверьте, чтобы в этой ситуации вести себя достойно, необходимо обладать либо очень сильным характером, либо исключительной наглостью. И потом, неужели вы думаете, что у этой пары есть хотя бы один шанс из ста долго прожить вместе? Сможет ли женщина, которая вела столь бурную жизнь, стать домашней хозяйкой? Очень скоро ей опротивят унылые будни. А любовь? Сколько может длиться любовь? Не кажется ли вам, что Байринг разочаруется в своем выборе, когда, разлюбив жену, поймет, что, если бы не она, он мог бы стать совсем другим человеком?

Уизерспун в очередной раз пригубил коньяк, а затем, как-то странно взглянув на Эшендена, проговорил:

— Не знаю, не знаю. Быть может, высшая мудрость как раз и состоит в том, чтобы делать то, что очень хочется, не думая о последствиях.

— И это говорит чрезвычайный и полномочный посол?

Сэр Герберт едва заметно улыбнулся:

— Байринг чем-то напоминает мне одного человека, с которым я познакомился, когда начинал служить в министерстве иностранных дел. Имя этого человека я вам называть не стану, ибо сейчас он занимает очень высокий пост и пользуется большим уважением. Он сделал блистательную карьеру. Во всяком успехе ведь есть элемент абсурда.

Эшенден молча, хотя не без некоторого удивления взглянул на своего собеседника — от сэра Герберта Уизерспуна он этих слов никак не ожидал.

— Итак, он служил вместе со мной в министерстве.

Это был блестящий молодой человек, который, по общему мнению, должен был далеко пойти. У него действительно были все задатки для дипломатической карьеры: выходец из семьи военных моряков, не очень знатной, но уважаемой, он на удивление хорошо умел себя поставить — в нем не было ни напористости, ни, наоборот, робости. Он был начитан, увлекался живописью; мы даже над ним посмеивались — он ужасно боялся отстать от жизни и боготворил Гогена и Сезанна, когда их еще мало кто знал. За этой любовью ко всему новому скрывался, быть может, некоторый снобизм, стремление к эпатажу, однако, в сущности, его интерес к современному искусству был глубоко искренним. Он обожал Париж и при первой возможности уезжал туда, останавливаясь в маленьком отеле в Латинском квартале, поближе к художникам и писателям, которые, как водится в артистических кругах, относились к нему немного покровительственно, ибо он был всего лишь дипломат, и немного насмешливо, ибо он определенно был джентльменом. Вместе с тем они любили его, потому что он готов был часами слушать их теории; когда же он хвалил их работы, они готовы были признать, что хоть он и филистер, но в искусстве кое-что смыслит.

Уловив в этих словах иронию, направленную отчасти на него, Эшенден улыбнулся. Интересно, зачем послу понадобилось столь пространное вступление? Возможно, сэр Герберт просто получал удовольствие от собственного рассказа, однако Эшенден допускал, что он по какой-то причине никак не решается перейти к делу.

— Знакомый мой был человек скромный; в обществе юных живописцев и безвестных писак он чувствовал себя совершенно счастливым и с разинутым ртом слушал, как они расправляются с признанными авторитетами и восторженно отзываются о тех, про кого рассудительные чиновники с Даунинг-стрит понятия не имеют. В глубине души он, конечно, сознавал, что его парижские знакомые — люди довольно заурядные и большим талантом не отличаются, и в Лондон возвращался обычно без всякого сожаления, скорее с ощущением того, что побывал в театре, на забавной, довольно увлекательной пьеске — спектакль сыгран, занавес упал, и надо идти домой... Да, забыл сказать, мой знакомый был очень честолюбив, он сознавал, что друзья прочат ему большое будущее, и разочаровывать их не собирался. Он знал себе цену и жаждал успеха. К несчастью, он был небогат, имел всего несколько сот фунтов годового дохода, но родители его к тому времени умерли, сестер и братьев у него не было, и отсутствие близких было ему, в известном смысле, на руку. В умении же делать полезные знакомства ему не было равных. Не кажется ли вам, что портрет получился довольно неприглядный?

— Ничуть, — ответил Эшенден на этот несколько неожиданный вопрос. — Большинство умных молодых людей знают себе цену и довольно циничны в своих расчетах и планах на будущее. Молодые люди должны быть честолюбивы, не правда ли?

— Итак, находясь очередной раз в Париже, мой приятель познакомился с молодым талантливым ирландским художником по имени О’Мелли. Сейчас-то он академик живописи и за солидные гонорары пишет портреты лорд-канцлеров и министров. Может, помните портрет моей жены, который выставлялся пару лет назад? Это картина его кисти.

— Нет, не помню, но имя мне знакомо.

— Жена была от этого портрета в восторге. Я тоже большой поклонник его таланта. На его холстах по крайней мере не все натурщицы выглядят на одно лицо. Когда О’Мелли пишет портрет аристократки, видно, что это аристократка, а не шлюха.

— Да, это большая редкость, — сказал Эшенден. — Интересно, а может он шлюху написать так, чтобы получилась шлюха?

— Мог. Сейчас О’Мелли едва ли возьмется за портрет шлюхи, но были времена, когда он жил в тесной, грязной мастерской на Рю-дю-Шерш-Миди с маленькой француженкой этой самой профессии. Несколько ее портретов кисти О’Мелли отличаются поразительным сходством.

Эшендену казалось, что сэр Герберт пускается в слишком большие подробности, и он задался вопросом, не является ли герой истории, смысл которой пока оставался неясен, самим сэром Гербертом, а не его приятелем.

— Моему знакомому О’Мелли нравился. У художника был легкий, веселый нрав; как и всякий ирландец, он был общителен, любил пошутить и посмеяться. Болтал он без умолку и отличался отменным чувством юмора. Мой знакомый любил приходить к нему в мастерскую, когда тот работал, и слушать его бесконечные рассуждения о технике живописи. О’Мелли постоянно твердил ему, что хочет написать его портрет, и этим, естественно, тешил его самолюбие; художник находил его внешность весьма запоминающейся и говорил, что давно мечтает написать портрет настоящего джентльмена.

— Кстати, когда все это было? — спросил Эшенден.

— Давно, лет тридцать назад... Они много говорили о будущем, и когда О’Мелли сказал, что портрет моего знакомого будет отлично смотреться в Национальной галерее, тот в глубине души поверил, что в конечном счете так оно и будет. Однажды вечером, когда мой знакомый (назовем его Браун) сидел у О’Мелли в мастерской, а тот, лихорадочно пытаясь воспользоваться последними лучами заходящего солнца, дописывал для Salon[[1]](#footnote-1) портрет своей любовницы, который в настоящее время выставлен в галерее Тейт, художник спросил, не хочет ли Браун пойти сегодня с ним и с Ивонн (так звали его любовницу) в ресторан. Дело в том, что на обед была приглашена подруга Ивонн, и О’Мелли был бы рад, если бы Браун согласился быть четвертым. Подруга Ивонн работала гимнасткой в мюзик-холле, Ивонн уверяла, что у нее великолепная фигура, и О’Мелли очень хотелось уговорить гимнастку позировать ему в обнаженном виде. Она видела картины О’Мелли, в принципе ничего против не имела, и сегодня вечером в ресторане предстояло решить этот вопрос окончательно. Как раз в эти дни гимнастка не работала, вскоре она должна была выступать в кабаре «Гетэ Монпарнас» и была не прочь, пока есть свободное время, сделать одолжение подруге и немного заработать самой. Предложение показалось Брауну, который никогда в жизни не общался с циркачками, довольно заманчивым, и он согласился. Ивонн предположила, что ее подруга может прийтись Брауну по вкусу, и намекнула, что, если она ему понравится, долго уговаривать ее не придется: с его-то видом, да еще в английском костюме, она наверняка примет его за Milord anglais.[[2]](#footnote-2) Браун рассмеялся. Слова Ивонн он всерьез не воспринял. «On ne salt jamais...»[[3]](#footnote-3) — сказал мой знакомый и поймал на себе лукавый взгляд натурщицы. Была Пасха, на улице было еще холодно, а тут, в мастерской, — уютно и тепло; и хотя студия была крошечной, в ней всегда царил жуткий беспорядок, а на подоконнике лежал густой слой пыли, Браун чувствовал себя здесь как дома. В Лондоне у него была уютная квартирка на Вейвертон-стрит, по стенам висели очень неплохие гравюры, за стеклами стояла старинная китайская керамика, однако его со вкусом обставленной гостиной почему-то не хватало того домашнего уюта, той романтики, которыми отличалась эта захламленная студия.

Тут раздался звонок в дверь, Ивонн ввела в комнату свою подругу Аликс (так, кажется, ее звали), и та со сладкой улыбочкой продавщицы bureau de tabac[[4]](#footnote-4) пожала Брауну руку и произнесла банальные слова приветствия. Она была в длинной пелерине из искусственной норки и в огромной малиновой шляпе, в которой выглядела чудовищно вульгарной. Ее нельзя было даже назвать хорошенькой: широкое, плоское, густо напудренное лицо, большой рот, вздернутый нос, густая копна золотистых, как видно крашеных, волос и громадные голубые подведенные тушью глаза.

Теперь Эшенден не сомневался, что Уизерспун и Браун — одно лицо; в противном случае сэр Герберт никогда бы не запомнил, как выглядела гимнастка и как она была — тридцать-то лет назад! — одета, и его даже позабавила наивность посла, почему-то полагавшего, что этот столь нехитрый повествовательный прием поможет ему скрыть правду. Хотя Эшенден мог пока лишь догадываться, чем эта история кончится, поразителен был сам по себе факт, что с этим холодным, надменным и изысканным человеком могло произойти подобное приключение.

— Она о чем-то заговорила с Ивонн, и тут мой знакомый подметил одну черту, которая странным образом показалась ему очень привлекательной: у Аликс был низкий, с хрипотцой голос, как будто она только что перенесла сильную простуду, и голос этот ему почему-то ужасно понравился. Он спросил у О’Мелли, всегда ли она так говорит, и художник ответил, что, сколько он ее знает, — всегда. «Как после бутылки виски», — пошутил Браун, и О’Мелли тут же перевел ей его слова, на что Аликс, улыбнувшись Брауну своим большим ртом, возразила, что говорит хриплым голосом не из-за спиртного, а из-за необходимости подолгу стоять на голове — это один из недостатков ее профессии. Затем они вчетвером отправились в низкопробный ресторанчик недалеко от бульвара Сен-Мишель, где мой знакомый за два франка пятьдесят сантимов, включая вино, съел обед, который показался ему в тысячу раз более вкусным, чем в «Савое» или в «Кларидже». Аликс оказалась весьма разговорчивой юной особой, и Браун с интересом, даже с удовольствием слушал, как она своим густым, раскатистым голоском болтала на самые разные темы. Она великолепно владела арго, и, хотя он не понимал и половины из того, что она говорила, ему ужасно нравилась живописная вульгарность ее языка, который отдавал раскаленным асфальтом, цинковыми стойками в дешевых забегаловках, многоголосыми площадями в бедных районах Парижа. Ее живые и броские метафоры ударяли ему в голову, точно ледяное шампанское. Да, она была уличной девицей, но в ней кипела такая энергия, что становилось жарко, как в натопленной комнате. Ивонн успела шепнуть ей, что Браун — англичанин, что он не женат и у него есть деньги; однажды он поймал на себе ее долгий оценивающий взгляд, а затем услышал, хотя и не подал виду, как она шепнула подруге: «Il n’est pas mal».[[5]](#footnote-5) Это его позабавило: он ведь и сам догадывался, что недурен собой. Впрочем, она не обращала на него особого внимания — они говорили о чем-то своем, а он из приличия делал вид, что с интересом слушает, однако время от времени Аликс украдкой бросала на него томные взгляды и быстро проводила языком по губам, давая этим понять, что все зависит только от него. Браун же пребывал в нерешительности. Аликс была молодая, обаятельная, необычайно живая девушка, однако, за исключением хриплого голоса, ничего особенно заманчивого в ней не было. Между тем мысль о том, чтобы завести в Париже интрижку, да еще с циркачкой, вполне ему улыбалась — в самом деле, почему бы и нет? — будет по крайней мере о чем вспомнить в старости. Не всякому же выпадает счастье завоевать сердце гимнастки! То ли Ларошфуко, то ли Оскар Уайльд сказал, кажется, что следует совершать ошибки в молодости, чтоб было о чем вспоминать в старости. Пообедав (за кофе и коньяком они засиделись допоздна), они вышли на улицу, и Ивонн предложила Брауну проводить циркачку домой. Браун с готовностью согласился, Аликс сказала, что живет недалеко, и они пошли пешком. По дороге она сообщила ему, что у нее своя квартирка, совсем крохотная — она ведь большую часть времени на гастролях, — но уютная; женщина, сказала она, должна иметь жилье, обстановку — что ж это за женщина, у которой нет собственного угла? Наконец они подошли к ветхому зданию на какой-то темной, грязной улочке, и Аликс позвонила в звонок, чтобы консьержка открыла им дверь. Подняться в квартиру она Брауна не позвала, и он не знал, удобно ли будет войти без приглашения. Внезапно его охватила ужасная робость, он мучительно соображал, что бы такое сказать, но не мог произнести ни слова. Аликс молчала тоже. Оба чувствовали себя неловко. Щелкнул замок, дверь открылась, Аликс выжидательно посмотрела на него; она явно была озадачена, он же от смущения не мог рта раскрыть. Тогда она протянула ему руку, поблагодарила за то, что он проводил ее до самой двери, и пожелала спокойной ночи. Сердце его бешено билось; пригласи она его войти в дом — и он бы вошел; ему хотелось, чтобы она, пусть не словами, а жестом, намеком, выдала свое желание, но ни жеста, ни намека не было; он пожал ей руку, попрощался и ушел. Он чувствовал себя круглым идиотом, всю ночь не мог сомкнуть глаз, без конца ворочался в постели, с ужасом думая о том, какой рохлей он ей показался, и с нетерпением ожидал рассвета, чтобы доказать ей, что впечатление, которое он произвел накануне, было обманчивым. Гордость его была ущемлена. Не желая терять времени даром, он уже в одиннадцатом часу отправился к ней с твердым намерением пригласить ее в ресторан, но Аликс не оказалось дома. Тогда он послал ей букет цветов и во второй половине дня зашел снова — за это время она успела вернуться и уйти опять. Он отправился к О’Мелли, надеясь найти ее там, но гимнастки в мастерской не оказалось, а ирландец, хитро прищурившись, поинтересовался, как Браун провел ночь, на что мой знакомый, дабы не упасть в глазах художника, заявил, что Аликс ему разонравилась и он, как истинный джентльмен, проводив ее до дому, ушел. Однако у него остался неприятный осадок, что О’Мелли его раскусил. На обратном пути из мастерской он послал ей pneumatique[[6]](#footnote-6) с приглашением завтра вечером вместе пообедать. Она не ответила. Он терялся в догадках, по многу раз спрашивал портье отеля, где остановился, нет ли ему письма, и наконец, почти совершенно отчаявшись, вечером следующего дня отправился к ней. Консьержка сказала, что мадемуазель дома, и Браун поднялся по лестнице. Он ужасно нервничал, злился на Аликс за то, что она так пренебрежительно отнеслась к его приглашению, и в то же время старался сохранить невозмутимый вид. Взбежав по темной, вонючей лестнице на четвертый этаж, он позвонил в квартиру, номер которой узнал от консьержки. Сначала за дверью было тихо, затем послышался какой-то шум, и он позвонил снова. Наконец Аликс ему открыла. По ее виду было совершенно очевидно, что она понятия не имеет, кто он такой. Браун совершенно растерялся — это был удар по его самолюбию, однако он взял себя в руки и, изобразив на лице светскую улыбку, сказал:

«Я, собственно, пришел узнать, обедаете ли вы со мной сегодня вечером? Вы ведь получили мою pneumatique?» Тут только Аликс наконец его узнала.

«О нет, сегодня я никак не могу пойти с вами в ресторан, — сказала она, по-прежнему стоя в дверях и не приглашая его войти внутрь. — У меня ужасная мигрень, и я хочу пораньше лечь спать. На телеграмму я не ответила потому, что она куда-то задевалась, а ваше имя вылетело у меня из головы. Спасибо за цветы, как это мило с вашей стороны». «Тогда, может быть, пообедаем завтра?»

«Justement,[[7]](#footnote-7) завтрашний вечер у меня занят. Простите».

Говорить больше было не о чем, задать ей еще какой-нибудь вопрос у него не хватило решимости, и Браун, вновь пожелав ей спокойной ночи, удалился. У него сложилось впечатление, что она на него не обиделась, а попросту совершенно забыла о его существовании. Браун чувствовал себя глубоко уязвленным. В Лондон, так ее и не повидав, он вернулся очень собой недовольный. Он не был влюблен в Аликс, вовсе нет, скорее испытывал досаду, но, как бы то ни было, не мог выбросить ее из головы. Мой знакомый вполне отдавал себе отчет: если он и страдает, то не от неразделенной любви, а от ущемленного самолюбия.

За обедом в ресторанчике на Сен-Мишель Аликс, помнится, обмолвилась, что весной ее труппа едет на гастроли в Лондон, и в одном из писем ирландцу Браун как бы между прочим писал, что, если юная натурщица (она же гимнастка) действительно собирается в Лондон, пусть О’Мелли даст ему знать — он бы с удовольствием с ней увиделся; ему, дескать, не терпится узнать, позировала ли она О’Мелли в обнаженном виде и хорошо ли получилась на портрете. Когда же художник спустя некоторое время написал, что гастроли Аликс начинаются через неделю в концертном зале «Метрополитен», на Эдгвер-роуд, Браун почувствовал, что ему ударила в голову кровь. Он побывал на представлении с ее участием, причем, если бы не купил заблаговременно программу, на ее номер скорее всего опоздал бы: Аликс выступала самой первой. На сцену вышли двое мужчин, один толстый, другой худой, оба с длинными черными усами, и Аликс. Все трое были одеты в плохо обтягивающие розовые трико и короткие атласные трусы зеленого цвета. Сначала мужчины выполняли всевозможные упражнения на трапециях, а Аликс сновала по сцене, подавала им носовые платки, которыми они вытирали руки, и иногда делала сальто. Потом, когда толстый поставил худого на себя, она взобралась на плечи худому и послала оттуда зрителям воздушный поцелуй. Затем все трое ездили на одноколесном велосипеде. Выступление умелых акробатов часто подкупает изяществом и даже красотой, однако этот номер показался моему знакомому таким безвкусным, таким тривиальным, что он испытал сильную досаду. Вам, вероятно, знакомо чувство стыда, которое испытываешь, когда видишь, как взрослые люди на потеху публике строят из себя дураков. Бедная Аликс, с ее натянутой, застывшей улыбочкой на губах, выглядела в розовых трико и зеленых атласных трусах до того нелепо, что Браун даже удивился, как это он мог разобидеться, что она его не узнала, когда он пришел к ней домой. Поэтому в артистическую по окончании представления он пошел не сразу, снисходительно передернув плечами. Вместе с визитной карточкой он дал швейцару шиллинг, и через несколько минут из уборной вышла Аликс, которая ужасно ему обрадовалась.

«Как приятно увидеть знакомое лицо в этом мрачном городе! — воскликнула она. — Вот сегодня с удовольствием с вами пообедаю — если пригласите, конечно. Умираю от голода. Я ведь никогда до спектакля не ем. Представляете, дали нам этот паршивый зал! Совести у них нет! Ничего, завтра поговорим с нашим антрепренером. Если они думают, что мы позволим сесть себе на голову, то сильно ошибаются. Ah, non, non et non.[[8]](#footnote-8) A публика? Как вам нравится эта публика?! Ни смеха, ни аплодисментов — сидят как истуканы!»

Мой знакомый был потрясен. Неужели Аликс относится к своему представлению всерьез? Он чуть было не рассмеялся. Впрочем, она и здесь, в Лондоне, говорила тем же низким, хриплым голоском, который почему-то так щекотал ему нервы. Циркачка была одета во все красное, и на голове у нее была та же самая малиновая шляпа, в которой она пришла в тот вечер к О’Мелли. Вид у Аликс был до того вульгарный, что Браун, побоявшись вести ее в приличный ресторан, где могли оказаться знакомые, предложил ей пообедать в Сохо. В те дни еще ходили закрытые двухколесные экипажи, которые гораздо больше располагают к любви, чем таксомоторы, поэтому, как только экипаж тронулся, мой приятель обнял Аликс за талию и поцеловал, на что циркачка отреагировала довольно вяло, впрочем, и он не испытал бешеной страсти. За обедом Браун вел себя очень галантно, и она старалась ему подыгрывать, однако, когда они встали из-за стола и он предложил ей поехать к нему на Вейвертон-стрит, Аликс ответила, что вместе с ней из Парижа прибыл ее друг, и у нее с ним на одиннадцать часов назначена встреча; с Брауном же ей удалось провести вечер только потому, что у ее друга было в это время деловое свидание. Браун был, сами понимаете, раздосадован, но виду не подал, и когда на Уордор-стрит (ее ждали в кафе «Монико») она остановилась у витрины ювелирного магазина и стала рассматривать какой-то браслет с фальшивыми сапфирами и бриллиантами, который Брауну показался верхом пошлости, он спросил ее, хочет ли она такой браслет.

«Но он же стоит целых пятнадцать фунтов!» — воскликнула Аликс.

Браун вошел в магазин и купил ей браслет, чем привел гимнастку в неописуемый восторг. Расстались они возле площади Пиккадилли.

«Послушай меня, mon petit,[[9]](#footnote-9) — сказала Аликс. — В Лондоне я с тобой встречаться не смогу — мой друг ревнив, как черт, но на следующей неделе я выступаю в Булони. Может, приедешь? Там я буду одна, мой друг должен вернуться домой, в Голландию».

«Хорошо, — ответил Браун. — Приеду».

В Булонь Браун отправился (взяв для этого двухдневный отпуск) только с одной целью: ублажить ущемленное самолюбие. По какой-то совершенно необъяснимой причине он не мог перенести, что Аликс считает его набитым болваном, и ему представлялось, что если она будет думать о нем по-другому, то перестанет для него существовать. Вспоминал он и об О’Мелли, и об Ивонн. Она наверняка все им рассказала, и он не мог примириться с мыслью, что люди, которых он в душе презирал, смеются над ним за его спиной... Не кажется ли вам, что мой знакомый — преотвратный тип?

— Вовсе нет, — сказал Эшенден. — Всякому здравомыслящему человеку известно, что тщеславие — самая разрушительная, самая всеобъемлющая и самая неискоренимая из всех страстей, что причиняет боль душе человеческой, и что только благодаря тщеславию человек способен совладать со своими страстями. Тщеславие сильнее любви. С годами, по счастью, перестаешь страдать от ужасов и тягот любви, однако от власти тщеславия не спасает даже возраст. Время может ослабить любовные муки, но только смерть способна усмирить боль от ущемленного самолюбия. Любовь проста и не ищет обходных путей; тщеславие же скрывается под множеством масок. Тщеславие — неотъемлемая часть всякой добродетели, источник мужества и успеха; тщеславие — залог верности влюбленного и долготерпения стоика; тщеславие разжигает желание художника прославиться и одновременно служит подспорьем и компенсацией честности добропорядочного человека; даже в покорности святого проглядывает циничный оскал тщеславия. Избегнуть тщеславия невозможно, если же вы вознамеритесь от тщеславия предохраниться, оно воспользуется вашим же намерением в борьбе с вами. Мы беззащитны против приступа тщеславия, ибо оно всегда найдет способ застать нас врасплох. Искренность не может обезопасить нас от его коварства, чувство юмора — от его насмешек...

Эшенден остановился — но не потому, что сказал все, что хотел, а просто чтобы перевести дух. Кроме того, он заметил, что посол предпочитает говорить сам, и поэтому слушает скорее по долгу вежливости. Впрочем, этот монолог он произнес не столько ради того, чтобы просветить своего собеседника, сколько чтобы позабавиться самому.

— В конечном счете, что, как не тщеславие, поддерживает человека в его тяжкой судьбе? — закончил Эшенден.

С минуту сэр Герберт молчал и смотрел прямо перед собой, куда-то вдаль, словно перед ним, где-то на горизонте, проплывали его невеселые воспоминания.

— Когда мой знакомый, — продолжал он, — вернулся из Булони, он понял, что безумно влюблен в Аликс, и договорился встретиться с ней вновь через две недели в Дюнкерке, где должны были проходить гастроли ее варьете. Все это время Браун не мог думать ни о чем другом, а в ночь перед отъездом (на этот раз в его распоряжении было всего тридцать шесть часов) не сомкнул глаз — так не терпелось ему поскорее увидеть возлюбленную. После Дюнкерка он всего на одну ночь ездил к ней в Париж и однажды, когда она получила недельный отпуск, уговорил ее приехать в Лондон. Он знал, что она его не любит. Для Аликс он был лишь очередным ухажером, одним из сотни, и она не скрывала, что он отнюдь не единственный ее любовник. Он же испытывал тяжкие муки ревности, однако ей о своих страданиях не говорил, зная, что ничего, кроме раздражения или насмешки, этим не вызовет. Аликс не была им увлечена; он нравился ей, поскольку был джентльмен и хорошо одевался, и она готова была оставаться его любовницей до тех пор, пока его притязания не станут обременительными, только и всего. Браун был не настолько обеспеченным человеком, чтобы делать ей по-настоящему дорогие подношения, однако даже если бы такие подарки и делались, она, из желания оставаться независимой, их не приняла.

— А как же голландец? — спросил Эшенден.

— Голландец? Никакого голландца и в помине не было. Она его выдумала, потому что по той или иной причине хотела, чтобы Браун оставил ее в тот вечер в покое. Солгать ведь ей ничего не стоило. Не подумайте только, что Браун не боролся со своей страстью. Он знал, что это наваждение, что связь такого рода, сделавшись постоянной, может обернуться для него катастрофой. На ее счет он не обольщался: Аликс была женщиной грубой и вульгарной. На интересующие его темы она говорить не могла, да и не хотела: ей и в голову не могло прийти, что его может интересовать что-то кроме ее собственных дел, и Аликс рассказывала ему бесконечные истории о своих ссорах с артистами, склоках с режиссерами и стычках с владельцами отелей. Все эти истории утомляли его безмерно, однако от звуков ее низкого, хрипловатого голоса сердце его начинало биться так сильно, что ему казалось: он вот-вот задохнется.

Эшендену было очень неудобно сидеть. Шератонские стулья на вид превосходны, но у них прямая спинка и слишком жесткое сиденье — к сожалению, вернуться в гостиную и предложить гостю сесть на глубокий, мягкий диван сэру Герберту в голову не приходило. Теперь у Эшендена не оставалось никаких сомнений, что посол рассказывает ему историю, которая произошла с ним самим, и ему было неловко, что Уизерспун, человек ему совершенно чужой, изливает перед ним душу. Свет от свечи упал на лицо посла, и Эшенден обнаружил, что оно стало мертвенно-бледным, а глаза лихорадочно засверкали. Трудно было поверить, что это был холодный, уравновешенный человек. Посол налил в стакан воды — горло у него пересохло, и ему было трудно говорить, но он заставил себя продолжать:

— Наконец моему знакомому удалось взять себя в руки. Грязная интрижка не вызывала у него ничего, кроме отвращения; в этой любовной истории не было никакой красоты — сплошной позор; к тому же связь с Аликс ничего хорошего не сулила. Его страсть была столь же вульгарной, как и женщина, к которой он эту страсть испытывал. И вот, воспользовавшись тем, что Аликс уезжала на полгода с труппой в Северную Африку и видеться они не могли, Браун решил окончательно с ней порвать. Аликс, впрочем, не испытывала горечь утраты. Он с грустью сознавал, что она забудет его через три недели.

Но тут в его жизни произошли значительные перемены, Незадолго до этого он близко сошелся с одной парой, мужем и женой, у которых были большие политические и светские связи. Их единственная дочь, уж не знаю почему, влюбилась в моего знакомого без памяти. Девушка эта была полной противоположностью Аликс: синие глазки, розовые щечки, высокая, белокурая — словом, типичная англичанка — таких, как она, рисовал в «Панче» Дюморье. Она была умная, начитанная, с детства привыкла к разговорам о политике и потому умела поддержать разговор на темы, Брауну интересные. У него были все основания полагать, что, если он попросит ее руки, ему вряд ли откажут. Я уже говорил, что мой знакомый был человек тщеславный, он знал, что обладает блестящими способностями, и не хотел, чтобы они пропадали даром. Она же была связана с наиболее родовитыми семьями в Англии, и надо было быть последним болваном, чтобы не понимать, что брак с ней в значительной степени облегчит эту задачу. Такую возможность упускать было нельзя, тем более что, женившись, он бы покончил наконец с постыдной и никчемной связью. Какое счастье видеть перед собой не стену беззаботного равнодушия и банального здравого смысла, о которую он в своем наваждении столько времени тщетно бился, а человека, для которого он что-то значит! Было трогательно и лестно наблюдать, как при его появлении лицо девушки освещается улыбкой. Он не был в нее влюблен, но находил ее очаровательной; кроме того, ему поскорей хотелось забыть Аликс и ту вульгарную жизнь, которую он из-за нее вел. Наконец Браун решился. Он сделал предложение и получил согласие. Ее родители были в восторге, однако свадьба откладывалась до осени, поскольку ее отец должен был ехать в Южную Америку на переговоры и брал с собой жену и дочь. Предполагалось, что они будут отсутствовать все лето. Самого же Брауна перевели из министерства иностранных дел на дипломатическую службу и пообещали место в Лиссабоне, куда он должен был выехать незамедлительно.

Браун проводил свою невесту, но вдруг выяснилось, что дипломата, которого он должен был сменить, задержали в Португалии еще на три месяца, и мой знакомый на все лето оказался предоставленным самому себе. Только он начал обдумывать, чем бы заняться, как получил письмо от Аликс. Она возвращалась во Францию и снова собиралась на гастроли: в письме приводился длинный список городов, где ей предстояло выступать. Со свойственной ей добродушной беззаботностью Аликс предлагала Брауну приехать к ней на пару дней «поразвлечься». И тут его охватило безумие — преступное, непростительное безумие. Если бы она умоляла о встрече, писала, что скучает без него, он, возможно, и отказался бы, но ее беззаботному, деловому тону Браун сопротивляться не мог. Внезапно он вновь испытал к ней страстное влечение — пусть Аликс груба и вульгарна, но от одного ее вида у него голова идет кругом, это был его последний шанс — в конце концов, он женится и больше ее не увидит. Теперь или никогда. И Браун отправился в Марсель, куда приходил из Туниса ее пароход. Аликс так обрадовалась, увидев его, что он воспрял духом, — только теперь он окончательно понял, как безумно ее он любит. Браун признался Аликс, что осенью у него свадьба, и стал умолять ее провести с ним последние три месяца холостой жизни, однако она наотрез отказалась, заявив, что не участвовать в гастролях не может, — не подводить же, в самом деле, товарищей! Тогда он предложил заплатить труппе за нее компенсацию, но она и слышать об этом не хотела — замену, тем более в последний момент, найти не так-то просто, а отказываться от ангажемента невыгодно: люди они честные, привыкли держать слово, у них есть свои обязательства и перед директором варьете, и перед публикой. Браун был в отчаянии; ему казалось, что счастье всей его жизни зависит от этих проклятых гастролей. А через три месяца, когда гастроли кончатся, найдется ли у нее для него время? Как знать, как знать, заранее ничего сказать невозможно. Он стал говорить, что обожает ее, что только сейчас понял, как безумно ее любит. «Что ж, в таком случае, — сказала она, — почему бы ему не поехать на гастроли вместе с ней? Она будет только рада, если он готов ее сопровождать; они отлично проведут время, а через три месяца он вернется в Англию, женится на своей богатой невесте, и все будут довольны». Какую-то долю секунды Браун колебался, но теперь, когда он увидел ее вновь, мысль о разлуке была для него невыносима. И он согласился.

«Но имей в виду, mon petit, — сказала она, когда он согласился, — директор варьете не погладит меня по головке, если я буду заниматься этим делом на стороне. Ничего не попишешь, приходится думать о будущем; в следующие гастроли меня ведь могут и не взять, если я буду отказывать нашим старым клиентам, — так что не обессудь. Ничего, это будет не так уж часто, только не вздумай устраивать мне сцены, если я пересплю с кем-то, кто мне приглянется. Ничего не поделаешь, коммерция есть коммерция, ты же все равно останешься моим amant de coeur».

Выслушав эту тираду, Браун впервые почувствовал острую боль в сердце и так побледнел, что Аликс, наверное, подумала, что он вот-вот потеряет сознание. Она с удивлением посмотрела на него.

«Таковы мои условия, — сказала она. — А уж ты смотри сам: хочешь — соглашайся, хочешь — нет».

Он согласился.

Сэр Герберт Уизерспун подался вперед. Он был так бледен, что Эшенден даже подумал, что посол сейчас лишится чувств. Глаза его ввалились, и если бы не вздувшиеся, точно канаты, вены на лбу, он был бы похож на мертвеца. Он совершенно потерял над собой контроль, и Эшендену очень хотелось, чтобы его рассказ поскорей закончился: от подобных душевных излияний он смущался и нервничал. «В таком состоянии лучше не показываться людям на глаза, — думал он. Его подмывало сказать: „Остановитесь, остановитесь. Не надо дальше рассказывать. Вам же самому будет потом стыдно“».

Но сэр Герберт утратил чувство стыда:

— На протяжении последних трех месяцев Браун и Аликс переезжали из одного городка в другой, жили в грязных крошечных номерах третьеразрядных гостиниц — снимать хорошие отели Аликс ему не позволяла, говоря, что у нее нет дорогих нарядов и она уютнее чувствует себя в гостиницах, к которым привыкла; кроме того, она не хотела, чтобы другие артисты говорили про нее, что она «живет на стороне». Большую часть дня Браун просиживал в дешевых забегаловках. В труппе к нему привыкли, обращались по-свойски, называли по имени, добродушно над ним подсмеивались и хлопали по спине. Когда артисты бывали заняты, Браун выполнял их поручения. В глазах директора варьете он читал добродушное презрение и вынужден был мириться с фамильярностью рабочих сцены. Из одного города в другой труппа ездила третьим классом, и Брауну приходилось таскать чемоданы. Он, который так любил читать, за все это время книгу не раскрыл ни разу — Аликс терпеть не могла, когда при ней читают, и считала чтение позерством. Каждый вечер он вынужден был ходить в местный мюзик-холл и наблюдать за ее нелепыми телодвижениями и ужимками, а потом еще соглашаться, что это высокое искусство. Он поздравлял ее, когда номер имел успех, и утешал, когда что-то не ладилось. Когда же представление заканчивалось, он шел в кафе и ждал, пока она переоденется; иногда она прибегала всего на минутку и второпях говорила: «Не жди меня сегодня, mon chaton,[[10]](#footnote-10) я занята».

В такие дни он испытывал мучительные приступы ревности, страдал так, как не страдал еще никто и никогда. В отель она возвращалась в три-четыре утра и удивлялась, почему он не спит. Не спит? Как мог он спать с таким тяжким грузом на душе?! В свое время он пообещал, что не станет вмешиваться в ее жизнь, устраивать сцен, но обещания не сдержал. Он устраивал Аликс жуткие сцены, а иногда даже бил ее. Тогда она теряла терпение, кричала, что он ей осточертел, что она уложит вещи и переедет в другую гостиницу, а он ползал перед ней на коленях, готов был пообещать что угодно, божился, что ни в чем не будет ей противоречить, что снесет любой позор, лишь бы она его не бросала. Это было ужасно, унизительно. Браун был глубоко несчастен. Несчастен? Вздор, он никогда еще не был так счастлив! Да, он опустился на самое дно, но здесь-то и нашел свое счастье. Ему осточертела жизнь, которую он вел раньше, эта же казалась увлекательной и романтичной. Это была настоящая жизнь! А дурно пахнущая, некрасивая, с низким хрипловатым голосом женщина обладала таким потрясающим жизнелюбием, такой жизнестойкостью, что от общения с нею и его жизнь становилась более насыщенной, более полноценной. Ему казалось, что он и в самом деле горит чистым, точно рубин, пламенем. Интересно, Патер[[11]](#footnote-11) еще не забыт?

— Не знаю, — откликнулся Эшенден. — Не знаю.

— Но через три месяца, с ужасом думал он, счастью этому наступит конец. О, как быстро летит время! Иногда ему в голову приходили дикие мысли все бросить и связать свою жизнь с акробатами. За это время они прониклись к нему симпатией, говорили, что он без труда научится их ремеслу. Правда, он сознавал, что говорилось это скорее в шутку, чем всерьез, однако подобная мысль не раз щекотала его воображение. Впрочем, дальше мыслей и предположений дело не шло; он никогда не думал всерьез о том, чтобы по истечении трех месяцев не вернуться к своей обычной жизни. Умом — своим холодным, рассудочным умом — он понимал, что было бы абсурдно жертвовать всем ради такой, как Аликс; он ведь был тщеславен, стремился к власти и вдобавок не мог разбить сердце той, что любила его, верила ему. Письма от невесты приходили каждую неделю; она писала, что мечтает поскорей вернуться, что считает дни, а он... он в глубине души надеялся, что по какой-нибудь причине ее приезд отложится. Ах, если бы у него было немного больше времени! Быть может, имей он в своем распоряжении не три месяца, а полгода, ему удалось бы избавиться от этого наваждения. Иногда он начинал Аликс ненавидеть...

И вот наступил последний день. По существу, сказать друг другу им было нечего; оба грустили, однако он знал, что если Аликс и грустит, то лишь потому, что к нему привыкла; не пройдет и дня, как она утешится с другим, будет опять весела, безмятежна и навсегда забудет о его существовании. Он же думал о том, что завтра поедет в Париж встречать свою невесту и ее родителей. Последнюю ночь они провели, рыдая друг у друга в объятиях. Если бы только она попросила его не покидать ее — как знать, возможно, он бы и остался; но она ни о чем не просила — такая мысль даже не приходила ей в голову; его отъезд она воспринимала как нечто давно решенное и рыдала не потому, что любила его, а оттого, что он был несчастен.

Утром она так крепко спала, что ему стало жаль будить ее, и он с чемоданом в руке на цыпочках вышел из комнаты и уехал, даже не попрощавшись.

Когда он встретил в Париже свою невесту и ее родителей, они были потрясены его видом, сказали, что он похож на привидение, а он ответил, что все лето проболел и ничего им не писал, чтобы они не беспокоились. Они проявили к нему очень трогательную заботу, а через месяц была свадьба. Браун поступил правильно, что женился. Ему представилась возможность проявить себя, и он себя проявил. Карьеру он сделал головокружительную. Он получил все, что хотел: положение, власть, почести. Его успеху могли позавидовать многие, очень многие. Многие — но не он сам. Ему же все обрыдло: и знатная красавица, на которой он женился, и люди, с которыми он вынужден был общаться; он все время играл роль, и иногда казалось, что больше так жить, постоянно прячась под маской, нельзя, что он этого долго не выдержит. Но он выдержал. Порой ему так нестерпимо хотелось увидеть Аликс, что лучше было застрелиться, чем терпеть эти муки. Больше он ее не встречал. Никогда. От О’Мелли он слышал, что она вышла замуж и ушла из труппы. Сейчас, должно быть, она толстая старуха, и все это уже не имеет никакого значения. Но жизнь свою он загубил. И жизнь несчастного существа, на котором женился, — тоже. Не мог же он год за годом скрывать от нее, что ничего, кроме жалости, дать ей не может. Однажды, не выдержав, он рассказал ей про Аликс, и с тех пор она устраивала ему сцены ревности.

Теперь он понимал, что не должен был жениться на ней, он рассказал бы ей все, как есть, и она, потосковав с полгода, вышла бы замуж за кого-нибудь еще. С его стороны жертва оказалась совершенно напрасной. Второй жизни человеку не дано, и горько было сознавать, что единственную жизнь он загубил. Ему так и не удалось пережить свое горе, и он смеялся, когда его называли жестким человеком, — он был мягок как воск. Вот почему я сказал вам, что Байринг прав. Даже если его брак продлится всего пять лет, даже если рухнет его карьера, даже если брак этот принесет несчастье, он все равно поступил правильно. Он был счастлив, он оправдал свою жизнь.

В этот момент дверь открылась, и вошла дама. Посол взглянул на нее, и в его глазах на мгновение блеснула холодная ненависть, но только на мгновение — сэр Герберт встал из-за стола и, изобразив на своем ввалившемся лице светскую улыбку, представил даму Эшендену:

— Познакомьтесь, это моя жена. А это мистер Эшенден.

— Я вас всюду ищу. Почему вы не в кабинете? Мистеру Эшендену, должно быть, ужасно неудобно.

Это была высокая, худая женщина лет пятидесяти, со следами былой красоты на увядшем лице. Видно было, что она из хорошей семьи. Чем-то она напоминала экзотическое растение, выращенное в теплице и начинающее увядать. Она была в черном.

— Как тебе концерт? — спросил сэр Герберт.

— Очень недурно, исполнялся концерт Брамса и оркестровые фрагменты из «Валькирии», а потом «Славянские танцы» Дворжака. Дворжак показался мне несколько претенциозным. — Она повернулась к Эшендену: — Надеюсь, вам с мужем не было скучно? О чем вы беседовали? Об искусстве и литературе, надо думать?

— Нет, скорее о сыром исходном материале, — сказал Эшенден и вскоре ушел.

1. Выставочный зал Академии художеств *(фр.).* [↑](#footnote-ref-1)
2. Английского лорда *(фр.).* [↑](#footnote-ref-2)
3. Никогда не знаешь… *(фр.).* [↑](#footnote-ref-3)
4. Табачной лавки *(фр.).* [↑](#footnote-ref-4)
5. Он не так уж плох *(фр.).* [↑](#footnote-ref-5)
6. Здесь: телеграмму *(фр.).* [↑](#footnote-ref-6)
7. Право же *(фр.).* [↑](#footnote-ref-7)
8. Нет, нет и еще раз нет *(фр.).* [↑](#footnote-ref-8)
9. Малыш *(фр.).* [↑](#footnote-ref-9)
10. Котенок *(фр.).* [↑](#footnote-ref-10)
11. «Горит чистым, точно рубин, пламенем» — почти дословная цитата из книги Уолтера Патера «Очерки по истории Ренессанса» (1873). [↑](#footnote-ref-11)